



МАЯК

ЛЕОНИД
ЮЗЕФОВИЧ

НА

ХИЙУМАА

ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ
“БОЛЬШАЯ КНИГА”
И “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСТСЕЛЛЕР”



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Леонид Юзефович
Маяк на Хийумаа (сборник)

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Юзефович Л. А.

Маяк на Хийумаа (сборник) / Л. А. Юзефович — «АСТ», 2018

ISBN 978-5-17-108028-0

В новой книге Леонида Юзефовича – писателя, историка, лауреата премий “Большая книга” и “Национальный бестселлер” – собраны рассказы разных лет, в том числе связанные с многолетними историческими изысканиями автора. Он встречается с внуком погибшего в Монголии белого полковника Казагранди, говорит об Унгерне с его немецкими родственниками, кормит супом бывшего латышского стрелка, расследует запутанный сюжет о любви унгерновского офицера к спасенной им от расстрела еврейке... Тени давно умерших людей приходят в нашу жизнь, и у каждой истории из прошлого есть продолжение в современности.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-108028-0

© Юзефович Л. А., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

тени и люди	6
Маяк на Хийумаа	6
Полковник Казагранди и его внук	23
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Леонид Юзefович Маяк на Хийумаа

Художник Андрей Бондаренко

© Юзefович Л.А., 2018.

© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2018.

© ООО “Издательство АСТ”, 2018.

тени и люди

Маяк на Хийумаа

1

Их было шестеро из полусотни с лишним рассеянных по лицу земли членов фамильного союза баронов фон Унгерн-Штернбергов: похожий на школьного учителя берлинский бизнесмен со взрослым сыном, тоже бизнесменом, немолодая медсестра из Мюнхена, профессор кафедры античной истории из университета в Базеле и двое дипломатов – действующий и отставной. Первый, в простецком пуловере поверх рубашки, улыбочивый, но молчаливый, возглавлял департамент МИД ФРГ по делам ООН и глобальным вопросам; второй, элегантно и строго одетый, в начале 1990-х был германским послом в Эстонии.

Фамилия была одна на всех. При знакомстве она опускалась, мне называли только имена. В немецком произношении они звучали непривычно, к тому же у большинства были двойные; я немедленно их забывал, но переспрашивать стеснялся, надеясь узнать и запомнить позже. Имя бывшего посла показалось мне длиннее, чем у остальных. Это был высокий человек лет семидесяти пяти, но совсем не старик. Темные волосы лишь на висках тронуты сединой. Массивное лицо с крупной нижней челюстью, точный взгляд слегка выцветших голубых глаз – такими я рисовал себе презирающих фюрера генералов вермахта из старинных дворянских семейств. С моим Унгерном – ничего общего. Меня представили ему как автора книги о самом известном из его родственников, но ни моя книга, ни я сам не вызвали у него никакого интереса.

С членами фамильного союза я познакомился в декабре 2011 года, в Берлине на презентации 50-минутной программы об Унгерне, незадолго до того выпущенной в эфир на государственном немецком радио. Бароны почтили ее своим присутствием, поскольку событие было знаковое: этот представитель их рода, юдофоб и протофашист, в Германии считался фигурой не то чтобы запретной, но лишней раз о нем старались не вспоминать.

Подготовил программу мой давнишний друг Марио Банди, сын знаменитого у себя на родине монгольского оперного певца и русской преподавательницы фортепиано в музыкальном училище Улан-Батора. Имя Марио он получил в честь какого-то отцовского коллеги из Ла Скала, а звучащая в унисон с именем фамилия, обманчиво напоминающая итальянскую, для знающих людей свидетельствовала о том, что он ведет происхождение от переселившегося некогда из Тибета в Монголию буддийского святого – пандита. Всем новым знакомым Марио объяснял, почему при внешности хана-чингизида его так зовут, хотя обычно никто не спрашивал. Оперный режиссер по профессии, выпускник Ленинградской консерватории, он после безуспешных поисков работы на обеих своих родинах перебрался в Германию и в конце концов стал радиожурналистом.

Его мать была родом из Перми, более того – из моего родного поселка Мотовилиха при пушечном заводе; мальчиком он каждое лето жил там на каникулах у дедушки с бабушкой. Мотовилиху от собственно Перми отделял глубокий и дикий, по моим детским понятиям, овраг, или, как говорят на Урале, лог, – с кладбищем на городской стороне и пустырем на нашей. Здесь, как три богатыря на краю половецкого поля, стояли три пятиэтажных дома, построенные в конце 1930-х для инженеров и рабочих-стахановцев. Они имели номера 26, 27 и 28, причем третий располагался между первым и вторым. Это, по-видимому, отражало

последовательность их появления на свет. Наш адрес на конвертах надо было писать так: “Ул. Культуры, каменный дом № 27”, а то письмо могло и не дойти: под тем же номером на той же улице числились еще заводской барак и частный пятистенки из когда-то существовавшей на этом месте деревни. Дед и бабушка Марио жили в № 28, но он из Улан-Батора писал им письма уже без обязательного в моем детстве указания на материал, из которого построен дом. Он был намного младше, в его времена нумерацию упорядочили.

Впервые мы с ним встретились в Петербурге. Гуляли, пили кофе, говорили о Монголии, об Унгерне, и когда вдруг обнаружилось, что наше детство прошло в соседних домах, Марио это поразило сильнее, чем меня. Я давно знал, что на магистральном течении нашей жизни совпадения и случайности превышают норму.

Нарядный Марио стоял у входа, встречая гостей. Хозяином праздника ему удавалось побыть нечасто, в этой роли расцвела его примятая обстоятельствами жизни артистичность, от которой у меня всегда теплело на сердце.

– Он очень волнуется, – доверительно сообщила мне его жена Надя.

По радио программу об Унгерне прослушали в основном домохозяйки. Марио надеялся привлечь к ней внимание людей, способных дать ему денег на съемки документального фильма о том же герое. Инвесторами могли стать баронский союз, какая-нибудь компания, имеющая интересы в Центральной Азии, или один из востоковедческих центров с уклоном в геополитику; с этим прицелом и рассылались приглашения, но, к огорчению Марио, большую часть гостей составили травоядные члены общества “Монголия – ФРГ” и представители монгольской диаспоры. Среди них затесались русские эмигранты по еврейской линии и неизбежные на таких мероприятиях фрики. Средних лет женщина щеголяла в серебристом эльфийском плаще с портретом Далай-ламы на спине; другая, постарше, в обобщенно-балканском наряде, диковато смотревшаяся рядом с цивилизными монголами, совсем уж не по теме агитировала за выход Болгарии из Евросоюза. Реагировали на нее слабо.

Презентация проходила в культурном центре при монгольском посольстве, он же – галерея обосновавшегося в Берлине художника Отгонбаяра: вестибюль с раздевалкой и большой зал. Я прошел туда с Надей.

На стене висел экран для демонстрации слайдов, перед ним – ряды невесомых пластмассовых стульев. Вокруг теснились полотна хозяина. Все они иллюстрировали популярный в стране Чингисхана слоган, встречающий туристов в аэропорту Улан-Батора: “Монголия – единственное место на земле, не испорченное человеком”. Степь, горы, необъятное небо, много лошадей, поменьше верблюдов. Овец мало, людей вообще нет. Все выполнено рукой профессионала, но в простодушной манере художников из народа, которые берутся за кисть после выхода на пенсию. Зрелый мастер, он вовремя осознал, что умиление – товар более ходкий по сравнению с любовью.

– А посольство не может дать денег на фильм? – спросил я у Нади.

– От них дождешься, – ответила она. – Хорошо, помещение для презентации предоставили бесплатно.

Появился ее муж. Самых важных гостей он встретил и послал Надю встречать остальных.

– Жаль, мало, – сказал Марио, по-хозяйски оглядывая пятерых баронов и одну баронессу. – Собирались приехать еще трое, один из Швеции.

– Их полсотни с чем-то, – вспомнил я им же и названную мне цифру. – Ты, что ли, со всеми списывался?

– Зачем? Только с председателем союза. Я действовал через него.

– А кто у них председатель?

– Юрген, я тебе уже говорил, – кивнул Марио на профессора из Базеля.

Он больше других походил на моего Унгерна, если бы тот дожил до предпенсионного возраста, правильно питался и вообще заботился о здоровье. Такой же рыжеватый блондин, чуть курносый, сероглазый. Взгляд, правда, не тот.

– Похож, – признал Марио. – Они с нашим Унгерном из одной ветви, только Юрген из ее лифляндского отростка. Из эстляндских у меня один Роденгаузен.

– Кто-кто?

– Хеннинг-Максимилиан фон Роденгаузен. Унгерн-Штернберг он по маме. Я его лично по телефону уговаривал, не через Юргена. Не хотел идти.

– Потому что по маме?

– Ну прямо! У них в союзе таких полно. Хотя большинство по отцу, конечно.

– Тогда почему не хотел?

– Черт его знает. Уперся, и все, не сдвинешь.

– И не пришел?

– Что значит не пришел? Вон стоит, – глазами указал Марио на бывшего посла в Эстонии, державшегося отдельно от компанейских родственников. – Я же тебя с ним знакомил.

– Прости, не расслышал фамилию.

– Роденгаузен, – по слогам повторил Марио. – Я ему вначале не догадался сказать, что будет Михель. Потом перезвонил, говорю: будет Михель. После этого он тоже обещал прийти. А так – ни в какую. Без объяснения причин.

– Подожди! – запутался я. – Кто из них Михель?

– Который из МИДа, по связям с ООН. В пулвере. Нашему Унгерну он не самая близкая родня. Генеалогически Роденгаузен нашему ближе всех.

– По нему не скажешь, – заметил я.

– Отцовская кровь пересилила материнскую, – сказал Марио. – Как во мне.

Он объяснил, что это важная в баронском союзе фигура. Юрген работает да еще и живет на отшибе, в Базеле, а Роденгаузен в отставке, делать ему нечего. Он редактирует союзный бюллетень, а сейчас занят подготовкой очередного съезда.

– Членские взносы тоже он собирает? – съязвил я.

Марио криво улыбнулся, показывая, что оценил мой юмор, но считает его несвоевременным.

– Пожалуйста, прояви к нему внимание, – попросил он. – Я на него рассчитываю.

– В смысле денег на фильм?

– Да, надо, чтобы он поддержал мою заявку. У него есть выход на один фонд, который их финансирует.

Гости тем временем начали рассаживаться. Бароны устроились все вместе, кроме Роденгаузена. Он сел в том же втором ряду, но между ним и ближайшим к нему берлинским бизнесменом, который уже не казался мне похожим на педагога, оставалось два свободных стула. Бизнесмен занял место слева от Михеля, его взрослый сын и коллега – справа.

Я сидел между Надей и подружкой Марио, монголисткой Викой из Карлова университета в Праге. Вообще-то она была ленинградка, но давно жила в Чехии. Марио там с ней и познакомился на какой-то монголоведческой сходке. Вика привезла с собой двоих детей, дочку лет десяти и сына года на три помладше. Они чинно восседали рядом с ней и бойко трещали почешски. Оба узкоглазые, в синих дэли. Я был уверен, что папа у них монгол, но Надя сказала, что нет, муж Вики – вьетнамец.

Первым выступил монгольский культурный атташе, спортивный молодой человек в дорогом костюме. Его немецкий я оценить не мог, но говорил он без шпаргалки. В мучительно длинном приветственном слове, которое с пятого на десятое шепотом переводила мне Надя, он на разные лады заверил собравшихся, что Монголия твердо встала на путь демократического развития и ни при каких обстоятельствах с него не свернет.

После аплодисментов Марио объявил программу вечера: прослушивание радиопередачи, сопровождаемое показом слайдов, потом посвященная ее герою небольшая научная конференция, потом фуршет. Он включил звук, приглушил свет и пристроился за ноутбуком, чтобы переключать слайды. Из динамика полилась музыка, в ней прорезалась немецкая речь. Надя опять зашептала мне в ухо, но я ее остановил и отдался созерцанию возникающих на экране фотографий.

На снимках было все то же самое, что на картинах Отгонбаяра, но от них замирало сердце, как на краю бездны. Неземные гобийские пейзажи говорили о том мире, каким он был до появления человека или станет после его исчезновения. Дальше к северу среди лошадей и верблюдов появились и люди: мальчик на придорожном развале продавал бюст Сталина с выраженными монголоидными чертами, суровые номады ехали по степи, уткнувшись в экраны мобильных, пурпурнощекая от молочного диатеза девочка кормила вставших на задние лапы, а передними вцепившихся ей в подол тарбаганов. Снимал сам Марио. Фотограф он был прекрасный. Я не сомневался, что фильм выйдет у него еще лучше, ведь он мог быть сценаристом, режиссером, звукорежиссером, оператором и научным консультантом в одном лице, но денег ему никто не давал.

Еще позже пошли архивные фото князей Халхи, лам, женщин с прической в виде рогов буйволицы, разрушенных после революции буддийских монастырей. Дольше других задержались изображения самого Унгерна, а в финале как итог всей его эпопеи выплыл и уже не уходил до конца передачи верещагинский “Апофеоз войны”. На фоне черепов промелькивали темные силуэты русско-вьетнамских детей в монгольских халатиках. Устав сидеть, они носились по залу, иногда пробегая между экраном и Марио. Вика делала вид, будто ее это не касается.

После короткого перерыва началась конференция. Докладчиков было всего трое: председатель баронского союза, Вика и я. Марио опасался утомить публику. Юрген, предусмотрительно севший с краю, вышел к потухшему экрану, и пока Марио перечислял его научные регалии, стоял с виноватой улыбкой на румянном лице. Он рассказал о родословной Унгерна. Надя успела сообщить мне название доклада, но тут ее попросили помочь с фуршетом, а без нее в десятиминутной лекции я понял лишь имена собственные.

Юргена сменила Вика, в перерыве успевшая переодеться в такой же, как у ее детей, дэли с широким и плотным желтым поясом. Он, как считается, предохраняет монголов от радикулита. Туфли остались прежние, на каблуках.

Свой доклад Вика посвятила образу Унгерна в монгольском песенном фольклоре. На этом языке она и говорила, вернее, читала, изредка отрываясь от текста и проверяя реакцию зала. Девушка из посольства переводила на немецкий, Марио ее контролировал. Надя не появлялась, и о фольклорном образе барона я узнал не больше, чем о его родословной.

Позже, на фуршете, Вика призналась мне, что об Унгерне у монголов есть единственная песня, и то непонятно, сложилась ли она в толще народной или ее занес туда какой-нибудь профессиональный стихоплет – из Улан-Батора в лучшем случае. В худшем – из Улан-Удэ. Все бурятское у монголов идет вторым сортом, и Вика, чтобы не осложнять себе жизнь, научилась смотреть на вещи глазами своих информантов.

2

Я выступал на русском. Марио переводил, подавая мне знаки, когда прерваться, чтобы он не упустил подробности. Тему доклада мы с ним выбрали позанимательнее, с учетом аудитории: “Мифы об Унгерне как исторический источник”.

Я пересказал две жутковатые легенды о нем, после чего на фактах показал, насколько мало в них правды, и в то же время как идеально укладываются они в логику его характера и в историю его жизни. Смысл был тот, что миф – проекция реальности, вынесенная за ее

пределы; там человек обращается в тень, но действует так же, как во плоти. Его поведение в этой роли многое объясняет в нем живом.

При знакомстве Роденгаузен не считал нужным прикрыть свое безразличие ко мне сколько-нибудь любезной улыбкой, но сейчас посматривал на меня с интересом. Я ловил на себе его взгляд в те моменты, когда говорил сам, а не когда вступал Марио. Это наводило на мысль, что он понимает по-русски.

Берлинский бизнесмен дважды что-то шепнул невозмутимому Михелю, но тот ни разу не ответил. Медсестра грызла шоколадку. Она приобрела ее на лотке, который в перерыве развернула у входа в зал предприимчивая дама из монгольской диаспоры.

Регламент был десять минут. Я уложился в восемь и уже хотел вернуться на место, когда поднялся бизнесмен.

– Подожди! Есть вопрос, – оживился Марио, до этого напрасно вызывавший к залу с предложением задавать вопросы Юргену и Вике. – Известно тебе что-нибудь о бароне Отто-Рейнгольде-Людвиге Унгерн-Штернберге?

Я ответил, что да, это прапрадед нашего Унгерна. В конце xviii века он владел поместьем на балтийском острове Даго, по-эстонски – Хийумаа.

Бизнесмен этим не удовлетворился.

– Спрашивает, – сказал Марио, – знаешь ли ты историю с каким-то маяком. Не расслышал название.

– Дагерорт? – спросил я.

Бизнесмен закивал.

Я объяснил, что с этого маяка барон в штормовые ночи подавал ложные сигналы. Обманутые капитаны брали неверный курс, корабли налетали на прибрежные утесы и разбивались. Спасшихся моряков убивали, судовой груз становился добычей барона.

Зал притих. Дочь Вики нашла пустой стул, села, не спуская с меня глаз, и притянула к себе брата. Мать все-таки научила девочку родному языку.

– В конце концов преступника разоблачили, – порадовал я ее, – судили и сослали в Сибирь. Там он и умер.

Бизнесмен торжествующе улыбнулся.

– Говорит, это миф, – доложил мне Марио, тоже улыбаясь в предвкушении очень красивой бы нашу конференцию небольшой дискуссии, и начал переводить синхронно.

В его изложении сказано было следующее: один исследователь изучил материалы судебного процесса и пришел к выводу, что барон невиновен, его оговорил сосед по имению. Они враждовали из-за спорных земель на границе их поместий. Соседа поддержал его друг, эстляндский генерал-губернатор, поэтому судьи побоялись оправдать подсудимого. Миф о мнимом преступнике распространился по Европе, о бароне писали как о величайшем злодее своего времени, хотя на самом деле он окончил Лейпцигский университет, был гуманный человек, уменьшил арендные платежи с крестьян, построил для них церковь с органом.

– В мифе его облик искажен. Точно так же не следует судить об Унгерне по легендам о его жестокости. Их обоих оклеветали. Одного – губернатор, другого – большевики, – закончил Марио и выжидательно взглянул на меня.

Вообще-то история с маяком была мутная. Я пробовал в ней разобраться, когда писал свою книгу, но так и не понял, как там все обстояло на самом деле. Меня это занимало не само по себе, а лишь в связи с тем, что Унгерн гордился предком-пиратом и считал себя чем-то вроде его реинкарнации.

– Спроси у него, – велел я Марио, – почему в этом случае все с такой легкостью поверили в злодейство барона.

Марио спросил и передал ответ:

– Такова человеческая природа. Люди всегда готовы поверить, что лучшие из них лишь притворяются хорошими.

Я согласился, но сказал, что добропорядочность бывает не более чем маской, а Даго, он же Хийумаа, – остров маленький, все друг про друга всё знают. Вероятно, там знали за бароном какие-то другие преступления, которые ему удалось скрыть от правосудия, в результате подача им ложных сигналов воспринималась как нечто вполне естественное. В этом мифе Отто-Рейнгольд-Людвиг остался самим собой, как его праправнук – в сложенных о нем легендах.

Аргументация была не бесспорной. Бизнесмен дернулся было возразить, но публика уже вставала с мест. Когда мы с Марио вышли в вестибюль, все возбужденно толпились возле двух столов с вином и закусками, но энтузиазм угасал на глазах. Оказалось, то и другое надо покупать, причем недешево. На бесплатный фуршет посольство не раскошенилось.

Я взял три бокала вина – себе, Наде и Марио. Он отвел нас к окну.

– Поздравляю, – сказал я. – По-моему, все прошло отлично.

Марио пригубил и ушел с полным бокалом, чтобы чокнуться с нужными людьми.

Надя тоже скоро меня покинула. Как хозяйка вечера она сочла долгом заняться детьми Вики. Их мать, практикуясь в разговорном монгольском, кокетничала с культурным атташе, а дети неприкаянно бродили по залу. Через пару минут я увидел их с бутербродами в руках.

Ко мне подошел Роденгаузен. Бокал воды без газа он держал на отлете, словно в нем пенилось шампанское, брызгами бьющее ему в нос. В другой руке у него была салфетка.

Я, насколько хватало моего английского, похвалил ему Марио за чудесный сегодняшний вечер.

В ответ он без усилия, хотя и с акцентом, предложил говорить по-русски. Я сделал радостно-изумленное лицо, но Роденгаузен дал мне понять неуместность этой гримасы.

– Я видел, во время доклада вы поняли, что я вас понимаю. Посол в Эстонии должен знать не только эстонский язык. Русский тоже.

– Вы его тогда и выучили?

– Нет, моя семья происходит из Таллина. До войны в Таллине жило много русских эмигрантов. Я играл с их детьми. Я старше, чем вы думаете.

Фразы были короткие, но чувствовалось, они рождаются у него такими, как я их слышу, а не складываются сначала по-немецки.

Он протер салфеткой края бокала, отпил глоточек воды.

– Хочу вас немного поправить. Маяк в те времена – большой костер на башне. Можно зажечь, можно не зажечь, но подавать с его помощью ложные сигналы нельзя. Это выдумка поэтов и романистов, плохо знакомых с морским делом. Барона обвиняли в том, что он зажигал костры в других местах, чтобы капитаны принимали их за свет маяка. Таким образом он и направлял корабли на скалы, но на суде это не смогли доказать. Вы правильно заметили: все всё знали, но доказательств не было. В итоге пришлось вмешаться губернатору. Были бы доказательства, барона заточили бы в крепость, а не сослали в Тобольск.

Мы стояли у окна, выходящего в темный двор. Зима выдалась необычайно теплой даже для Германии. Под Рождество листва на деревьях еще не облетела, на газонах зеленела трава. В зале было душновато, и кто-то приоткрыл фрамугу. Едва ощутимый сквознячок сочился из полоски заоконной темноты.

Четверо баронов и баронесса тесным кружком расположились в другом конце зала. Никто к ним не подходил. Бокал с вином имелся только у сына моего оппонента, тарелка с едой – только у медсестры. Остальные ничего не ели и не пили, кроме воды. У Михеля и воды не было.

– Здесь все очень дорого, – сказал Роденгаузен, заметив, что я смотрю в их сторону.

– Марио мне говорил, вы не хотели сегодня приходить. Есть причина? – спросил я.

– Есть, – не стал он отрицать. – С вашим Унгерном у меня общие предки, но я не большой его поклонник. Я пришел, чтобы не обижать Михеля. Михель – мой друг.

Следующий вопрос напрашивался, но задать его я решился не сразу.

– Почему же вы весь вечер держитесь в стороне от него?

Роденгаузен в замедленном темпе повторил операцию с салфеткой, отпил еще глоток, такой же микроскопический, как первый. Он размышлял, стоит ли отвечать, наконец все-таки ответил:

– Рядом с Михелем постоянно находится один человек. Он из тех, кто преклоняется перед вашим героем. Я не очень люблю таких людей.

Ясно стало, что речь идет о берлинском бизнесмене.

– Я думал, вы тоже из них, но после вашего доклада переменял мнение, – договорил он. – Не понимаю, для чего вам понадобилось писать книгу о Романе.

Резануло слух, что при нелюбви к Унгерну он назвал его по имени. Впрочем, все они называли друг друга по именам. Мертвые были членами их союза наравне с живыми.

– Он интересен мне как историку, – привычно объяснил я, хотя это была лишь часть правды, небольшая и не самая важная.

– Вам не кажется, что он заслужил свою участь?

– Так можно сказать о каждом.

Он кивнул.

– Это правда. Спрошу по-другому: какие чувства вы к нему испытываете?

Его предыдущие вопросы мне часто задавали другие, а этот я ставил перед собой сам, но так и не нашел ответа. Что я мог ему сказать? Я, еврей, написавший об убийце евреев. Что в молодости, подхорунжим Забайкальского казачьего войска, Унгерн возил с собой труды по философии, разрывая их на части, чтобы удобнее было уложить в седельную суму и читать в седле? Что на допросе в плену назвал марксизм религией без бога и сравнил его с конфуцианством? Что он не верил в Бога, но верил в судьбу, потому что если она есть, значит, мы не так безнадежно затеряны в этом страшном мире, как если бы ее не было?

Я начал говорить об отвращении, смешанном с восхищением и переходящем в жалость, когда после мятежа в Азиатской дивизии Унгерн превращается в одинокого затравленного волка; о том, как трудно отделить в нем мечтателя от воина, воина – от палача.

– Антисемит и садист. Зря вы его идеализируете, – прервал меня Роденгаузен.

Тут же, видимо, он пожалел о своей резкости и другим тоном спросил:

– Вы ведь не бывали на Хийумаа?

Круг замкнулся. Возвращение к прежней теме предвещало конец разговора.

– Нет, – честно признался я.

– Это видно.

– Каким образом?

– Поезжайте туда и сами поймете.

Передо мной вновь стоял похожий на генерала вермахта старый карьерный дипломат с безразличным взглядом. Он вдруг потерял ко мне интерес. Вежливо простился, но руки не подал, поставил бокал с водой на подоконник, точным движением уронил в него салфетку и направился к выходу.

3

Через полчаса мы с Марио и Надей вышли на улицу. Марио жадно закурил.

– Я видел, ты стоял с Роденгаузенем, – сказал он. – Что он тебе сказал?

Я стал объяснять, что Унгерна он терпеть не может, бесполезно просить у него денег, но умолк, почувствовав сквозь куртку, как палец Нади предостерегающе вжался мне в межреберье. Рушить иллюзии мужа позволено было только ей.

Завернули в соседний ресторанчик.

– Удалось еще с кем-то поговорить насчет фильма? – спросил я, когда выбрали столик и сделали заказ.

– А-а! – поморщился Марио.

– А конкретнее?

– Обещали подумать и разузнать. Это значит, ничего не будет. Немцы никогда прямо не отказывают.

– Может, они в самом деле подумают и разузнают?

– В этом случае назначили бы, когда позвонить. А так – пустой номер. Меня на радио давно пора взять в штат, и они вроде не против. Уже три года думают и разузнают.

Мы с Надей пили красное вино, Марио – виски. На третьей порции он вспомнил:

– Один дед – монгол, другой – русский. А болезнь у обоих была одна.

Его ноготь выразительно щелкнул по краю стакана.

– Возвращайся в Россию, – предложил я.

– Куда? В Мотовилиху?

– Зачем в Мотовилиху? В Москву, в Питер.

– Кому я там нужен!

– Ну, в Монголию. В Улан-Батор.

– Вообще не вариант. Я и монгольский-то плохо знаю. Учился в школе при советском посольстве, дома говорили по-русски. Лучше уж здесь. Тут хоть у Нади работа есть.

Они познакомились в Якутске, где он после консерватории пару месяцев проработал режиссером в театре оперы и балета, пока его не уволили по сокращению штатов. По профессии Надя была коллегой мюнхенской баронессы и устраивала в немецкие клиники тех, кто приезжал на лечение из России. Главным образом онкологических больных.

– Она слишком к ним привязывается, – переключился Марио на ее проблемы. – Жалеет их, опекает как детей, а в итоге они наглеют и шагу без нее ступить не хотят. Им удобно считать, что они друзья, это все по-дружески. Чуть что, звонят: приезжай. Она и летит. То купить что-нибудь, то проконсультировать, то перевести. Много времени уходит на каждого. Это отражается на зарплате.

– Я по-другому не умею, – сказала Надя.

Ее рука лежала на столе. Марио прикрыл ее своей ладонью. Она перевернула кисть, и их ладони легли одна в другую. При кажущейся невинности жеста это выглядело настолько интимно, что захотелось отвернуться.

Принесли горячее. Настроение у Марио улучшилось, он стал рассказывать, как в Якутске ставил “Риголетто” и на репетиции женщины-хористки жестоко измывались над молодым режиссером – капризничали, не желали выполнять его указаний, наконец, вовсе отказались петь под предлогом, что сверху, из-за колосников, страшно дует, они могут простудиться и потерять голос. В отчаянии Марио рванул вверх, взлетел по винтовым лестницам, отыскал какой-то открытый люк, способный служить источником губительного для их голосовых связок сквозняка, неимоверным усилием, как если бы от этого зависела его жизнь, опустил тяжелую крышку, сильно ободрав себе кисть, зажал рану носовым платком и вернулся на сцену. Платок мгновенно намок кровью. Сквозняк то ли прекратился, то ли его и не было, но жертвенная кровь умилила злобных якутских фурий. Хористки сбегали в медпункт за бинтами и йодом, перевязали руку и до конца репетиции беспрекословно ему повиновались. Репетиция прошла идеально.

– Выстраиваю мизансцену, – рассказывал Марио, – а в голове прокручивается: “Дело прочно, когда под ним струится кровь. Дело прочно...” Никак не могу остановить эту пластинку.

Надя перестала жевать. Она раньше меня сообразила, куда заворачивает эта приключившаяся с ее мужем смешная история со счастливым концом.

– С фильмом та же ситуация, – весело сказал он. – Требуется пролить кровь? Пожалуйста, всегда готов. Из руки, из ноги, откуда угодно.

– Желудочное кровотечение из твоей язвы годится? – спросила Надя.

– Да, – спокойно подтвердил Марио. – Только где? Когда? Перед кем? Ты знаешь?

Он ушел в туалет. В его отсутствие я заплатил по счету, и мы двинулись к подземке. Они поехали к себе на съемную квартиру, я – в относительно дешевую гостиницу, занимавшую пол-этажа в офисном здании. Надя селила здесь своих пациентов. Пока они лежали в клинике, их родственники жили тут неделями, благо номера были домашнего типа, с кухней, чтобы они могли что-то себе сварить, а не тратить деньги по кафе и ресторанам. Потом больные ездили отсюда на химиотерапию или набирались сил перед обратной дорогой. На всю гостиницу была одна горничная, уборку делали редко и не очень тщательно. След беды обнаружился то в пустой упаковке от одноразового шприца, завалившейся в ящике кухонного стола, то в выдутом вентиляцией из-под дивана клочке ваты с буро-желтыми пятнами.

4

На Хийумаа я попал осенью следующего года. Из Таллина мы с женой на автобусе приехали в Хаапсалу, а оттуда час или чуть дольше плыли на пароме до городка Кярдла, островной столицы с тремя тысячами жителей. Когда-то местечко называлось Кертель; дед Унгерна по отцу, которому Отто-Рейнгольд-Людвиг, в свою очередь, приходился дедом, управлял здесь семейной суконной фабрикой, но навещал ли его внук, неизвестно. Внуков у него была чертова уйма.

В Кярдла выяснилось, что маяк Дагерорт, по-эстонски – Кыпу, расположен в сорока километрах отсюда, на противоположном краю острова. Остров оказался больше, чем я предполагал. Маршрутки в ту сторону ходили два раза в сутки, и оба рейса мы уже пропустили. Решили добираться на попутках, но редкие машины или пролетали мимо, или вскоре сворачивали с трассы. На дорогу ушло полдня. Последние километров десять нас провез добрый человек, у которого не только багажник, но и салон были набиты купленными в Таллине рулонами линолеума для его дома. Рулоны, место которых мы заняли, пришлось держать на коленях.

Был сентябрь, темнело рано. На маяк уже не пускали, водитель высадил нас на дороге в полтора километрах от него и показал, как дойти до единственного поблизости гостевого дома. Мы подошли к нему на границе сумерек и темноты.

Сезон заканчивался, ни одно окошко не светило в двух предназначенных для туристов летних домиках, но под окнами и стеклянными дверьми третьего, более основательного, на траве лежали бледно-желтые прямоугольники. В нем размещались офис и столовая. Здоровенный молодой мужчина по имени Рихо, сносно говоривший по-русски, пообещал нам на ужин рыбу с картофельным пюре и вручил ключ от комнаты.

Он же нас и проводил. По пути мы узнали, что в прошлом он баскетболист, о чем можно было догадаться по его росту, легкости походки при весе под сотню килограммов, мощной сутулой спине и громадным кистям длинных рук. В очерченном ими кругу, включавшем в себя все хозяйство этой лесной турбазы, стоял, рассказывал Рихо, обычный хутор, но его владелица, старая Мае, которую мы мельком видели в столовой, первая в округе сообразила, что место золотое, можно зарабатывать на туристах. Она взяла ссуду в банке, наняла его, Рихо, еще двоих парней с соседних хуторов, и они перестроили дом в административный корпус,

добавив для хозяйки второй, жилой этаж, снесли надворные постройки, соорудили домики для гостей. Обычно туристы осматривают Кыпу и уезжают, но некоторым хочется денек-другой пожить возле маяка.

На вопрос, где он, Рихо махнул рукой куда-то во тьму. В той стороне над черной стеной леса, туманя высыпавшие к ночи звезды, вставало слабое сияние, похожее на расплывающийся по дождевой мороси свет уличного фонаря. Во времена Отто-Рейнгольда-Людвига маяк зажигали весной, с 15 марта по 30 апреля, и осенью, с 15 августа по 30 сентября, но теперь, наверное, он горел дольше. Навигация удлинилась, октябрьские штормы не помеха проходящим возле Хийумаа сухогрузам и танкерам.

Рихо отобрал у Наташи ключ и продемонстрировал, как надо им пользоваться. Это имело смысл, поскольку даже ему замок поддался не с первой попытки. Он включил свет. Вошли в тесную, по-спартански обставленную комнату, чистенькую, но холодную. Температура как на улице. От обклеенных белесыми обоями дощатых стен дохнуло сыростью. Наташа отогнула край покрывала, пощупала простыню и вздохнула.

Рихо понял ее без слов. С улыбкой волшебника он извлек из шкафа экономный, на три секции, масляный обогреватель, воткнул вилку в розетку.

– Сейчас будет тепло. Постельное белье надо снять и развесить на стульях.

– Может быть, есть комната посуше? – предположила Наташа.

– Это у нас лучшая комната, – весомо сказал Рихо. – В сезон мы за нее берем дороже, а в сентябре цена как у других. Раньше в ней жил германский посол, когда приезжал из Таллина. Ему нравилось. Он часто сюда приезжал.

– Нынешний посол? – спросил я на всякий случай, хотя сразу догадался, о ком речь.

– Другой. Его уже нет.

– Роденгаузен?

– Он. До войны это была земля его деда по матери. Он по матери из Унгру.

Рихо ничуть не удивился, что я назвал имя давно покинувшего свой пост немецкого посла в Эстонии. В таких местах люди думают, что если уж даже им что-то известно о большой политике, человек из Петербурга тем более должен это знать.

– По-эстонски Унгру – это Унгерн, – пояснил я Наташе.

Имя моего берлинского собеседника откликлось в окрестном пейзаже и в сиянии над лесом, но не вязалось ни с этой тумбочкой, ни с единственной в комнате полутораспальной кроватью, на которой не слишком-то комфортно лежать вдвоем. Дивана не было.

– С кем он приезжал? – поинтересовался я.

– Один.

– Совсем один?

– С собакой.

– И что делал?

– Ничего. Гулял, ходил к морю.

Рихо ушел. Снимая наволочку, я прочел Наташе стихи, которые студентом перевел с английского:

*“Какое прекрасное место,
чтобы прийти сюда однажды ранним утром,
утром ранней осени”, —
сказал старый человек, разговаривая с самим собой,
или со своей собакой,
или с пролетающим ветром.*

– Чьи? – спросила Наташа.

Я ответил, что это неважно. Имя автора стихов ничего бы ей не сказало, зато могло оторвать их от человека, ночевавшего тут до нас и ходившего теми же маршрутами, по которым мы пойдем завтра. Без собаки, но тоже в том возрасте, когда люди говорят о себе не только с другими людьми.

Наташа поняла и не настаивала. Мы сняли простыню, наволочки, пододеяльник, повесили их над обогревателем и пошли на ужин. Рихо принес обещанную рыбу. Кроме нас, в столовой не было ни души, но Мае даже не посмотрела в нашу сторону. Напудренное лицо и ярко накрашенные губы делали ее похожей на состарившуюся куклу. Она ножницами обрезала цветочные стебли и раскладывала цветы по кучкам, чтобы потом в известных ей одной сочетаниях расставить их по настольным вазам. На руках – перчатки. Ее мертвенная опрятность казалась суррогатом былой женственности.

Наташа полупшепотом обсудила со мной возможные отношения между хозяйкой и Рихо. По ее мнению, он состоял при Мае поваром, кастеляном, электриком, разнорабочим и помощником во всех делах, исключая, должно быть, финансовые. Жгучий вопрос, является ли Рихо ее любовником, остался открытым.

Мае сказала, что заплатить за ужин желательно прямо сегодня, но кошелек мы оставили в рюкзаке. Я взял его и вернулся, а Наташа принялась стелить постель. Воздух в комнате нагрелся, белье немного подсохло.

Рихо сидел в каптерке напротив столовой. Рассчитываясь, я заметил, что он успел прилечь к рюмочке. В глазах у него стояла не местного разлива тоска.

– Она, – обреченно кивнул он на Мае, менявшую цветы в вазах, – сказала мне: “Я детей не имею, родственников нет. Скоро умру, кому это все достанется? Живи у меня, достанется тебе”. Год живу, второй, третий, четвертый. – Рихо на русский манер начал загибать пальцы, а не разгибать их, как делают западные люди; СССР длил фантомное существование в такого рода привычках. – Пятый, – продолжил он свой горестный счет, – шестой, седьмой... Денег не получаю. Она говорит: умру, все тебе достанется... Восьмой, девятый.

Мизинец на правой руке остался нетронутым, но по тому, как бодро бегала по столовой Мае, можно было заключить, что весной Рихо придется загнуть и его.

Он мог быть ее любовником, мог и не быть. Их объединяло другое: оба они уходили корнями в скудную здешнюю почву, значит, их предки были крепостными предков Унгерна.

Я спросил, знает ли он о бароне-пирате и его кострах. Рихо все это знал, но версию с кострами отверг как чересчур примитивную для гения здешних мест.

– Он не так делал. Он брал хромых лошадей, привешивал к ним фонари и заставлял конюхов водить их по берегу друг за дружкой. Капитан думал, что видит огни другого корабля, значит, здесь можно укрыться от бури. Направлял корабль в эту сторону и налетал на камни.

Лошадь припадала на увечную ногу, фонарь то нырял вниз, то взлетал вверх, как на палубе раскачиваемого морской зыбью судна. Меня поразила эта островная хитрость в духе Одиссея. От нее веяло не двухвековой стариной, а тысячелетней древностью.

– Он грабил корабли, потому что должен был поддерживать огонь на Кыпу, – объяснил Рихо. – Лесорубам надо платить, возчикам, кострожогам, смотрителям. Даром никто работать не станет. Лес у нас тоже недешев. Он просил денег у царя, царь не дал.

– Все равно нехорошо, – усомнился я в праве барона губить одни души, чтобы спасти другие.

– Лучше, если бы все погибли? – традиционно оправдал его Рихо. – Унгру был добрый человек. Ему приходилось так поступать, но этот грех не на нем.

– А на ком?

Рихо деликатно промолчал. Я понял, что ему не хочется обижать меня прямым указанием на жадного русского царя.

Кругом был лес, за открытым окном, невидимые в темноте, верхушки деревьев раскачивались и слитно шумели. Внизу ветер почти не ощущался. Море, видимо, оставалось спокойно. Его характерный рокот сюда не долетал.

При Отто-Рейнгольде-Людвиге эти места были голыми, лес свели на дрова в радиусе десяти верст от маяка. Кыпу требовал много пищи, зато мореплаватели видели его свет на расстоянии двадцати миль от побережья. В течение трех столетий исполинский костер на вершине каменной башни кормили елями и соснами, но теперь они вновь густо покрывали остров.

– Филины тут водятся? – спросил я, меняя тему.

С этой птицей связан был один эпизод из детства Унгерна. О нем рассказал знавший его ребенком Германн фон Кайзерлинг, такой же эстляндский немец и очарованный Востоком странник; изданный им в 1919 году “Путевой дневник философа” соперничал в популярности с “Закатом Европы” Шпенглера.

Его отец дружил с отчимом Унгерна, бароном Хойнинген-Хюне. Однажды тот с женой и пасынком приехал в гости к Кайзерлингам, а у них дома жил подобранный детьми в лесу филиненок. Девятилетний Унгерн или пытался с ним поиграть, или дразнил его сквозь прутья клетки, и пернатый узник клюнул мальчика в руку. Кайзерлинг, тогда подросток, на всю жизнь запомнил, как его маленький гость в припадке ярости, какими будет славиться позже, выволок обидчика наружу и начал душить. Птичьи когти в кровь расцарапали ему руки, но он не обращал на это внимания. Двое взрослых мужчин с трудом отняли у него полузадушенную птицу. Он был в невменяемом состоянии – нелюдимый мальчик, не нужный ни отцу, после развода забывшему о существовании сына, ни матери, родившей от нового мужа еще двоих детей, ни отчиму, которого ненавидел.

Второй филин появился в его жизни спустя четверть века. Он обитал в сопках рядом со станцией Даурия в шестидесяти верстах от китайской границы; здесь Азиатская дивизия квартировала до ухода в Монголию. Рассказывали, будто вечерами, отправляясь на верховую прогулку, Унгерн обязательно проезжал возле дерева, где находилось дупло его любимца, и умело подражал его крику до тех пор, пока не добивался ответного уханья. Почему-то я верил в правдивость этой истории. В ней могло отразиться и подсознательное желание Унгерна избыть в себе давнюю детскую вину перед несчастным филиненком, и столь же неосознанное стремление дать волю ночной, демонической стороне своей личности. Предпочтение отдавалось то одной версии, то другой. Обе были недоказуемы в принципе, поэтому все зависело от моего настроения.

Вопрос Роденгаузена, какие чувства я испытываю к моему герою, по-прежнему был для меня актуален. Кто я, историк или адвокат дьявола? Иногда утреннее сожаление, что я недостаточно его осудил, вечером сменялось чувством вины перед ним, и я находил его грехам если не оправдание, то хотя бы объяснение. Эти качели выматывали мне душу. То я заставлял себя быть к нему снисходительнее, ведь без жестокости он не мог бы поддерживать дисциплину в состоявшей из всякого сброда дивизии, да и совершенные по его приказу убийства происходили не в обычной обстановке, как было при немцах в Литве и Польше, когда евреев убивали их же соседи, а после многомесячных скитаний по пустынным монгольским степям, на фоне зимы, войны без правил, одичания, ожесточения; то отвергал эти доводы и вспоминал слова одного унгерновского офицера, писавшего, что его начальник не имел не только милосердия, но и самого сердца.

– Филины есть, – сказал Рихо, но воспоминаниями о встречах с ними делиться не стал.

Через полчаса мы улеглись, Наташа быстро уснула, а я попытался додумать мысль, явившуюся мне в машине, среди рулонов линолеума. Главный ужас истории барона-пирата, оседало меня в те минуты, заключается в дьявольском перевертыше: путеводный огонь, символ надежды и спасения, он превратил в орудие зла, сделал его вестником гибели. К этому примешались еще и хромые лошади как намек на моральную ущербность Отто-Рейнгольда-Людвига.

Казалось, отсюда я выйду к пониманию чего-то очень важного, касающегося и его праправнука, но тропы, по которым я пробовал идти, запутывались, глохли, обрывались или, попетляв, приводили в исходную точку моих размышлений, пока я осознал, что меня манит не мысль, а фальшивый огонь самой фразы. Я выбросил ее из головы и тут же почувствовал, что засыпаю.

5

После завтрака отправились к маяку. Рихо указал нам дорогу. Впереди, совсем близко, вставала над лесом белая башня, точнее, верхняя ее часть с маленьким стеклянным куполом на макушке. В нем обитал ведущий ночной образ жизни, как филин, и дремлющий в это время суток маячный излучатель с линзами. На изгибах дороги его хрустальный дворец вспыхивал под солнцем.

От шоссе дорога начала забирать вверх. Я решил, что берег здесь высокий, море откроется не раньше, чем мы выйдем на край обрыва, где должен находиться Дагерорт. Маяк получил это имя от построивших его шведов. Оно нравилось мне больше, чем эстонское. Когда-то на Хийумаа, в то время – Даго, были шведские хутора и даже деревни, но соплеменников Карла хii как возможную пятую колонну выселили с острова еще при Екатерине Великой.

Через пару сотен шагов меня стали мучить сомнения. Дул довольно сильный ветер, но грохота разбивающихся о прибрежные скалы валов я почему-то не слышал, только ровный, звучащий совсем на иной ноте, безмятежный гул соснового бора.

Еще минут десять пологого подъема, и мы – у подножия маяка.

Его сорокаметровая квадратная башня, во времена Ганзы сложенная из каменных плит внизу и булыжного камня повыше, почти на всю высоту подпертая четырьмя мощными контрфорсами, ясно впечатана в бледно-синее небо ранней осени. Она прекрасна в своей белизне и одиночестве, но любоваться ею я не в силах, меня терзает мысль, что в книге об Унгерне я поставил ее не на этом холме, самой высокой точке острова, а у моря, которого отсюда даже не видно. До него, как мне сообщила молодая русская пара, тут километра три. Понятно, из чего Роденгаузен вывел, что на Хийумаа я не бывал.

Вход в маяк – платный. В кофейне возле него сидели туристы, около кассы девушка в национальном костюме торговала сувенирами. Пока я выяснял у нее кратчайший путь к морю, Наташа купила билеты. Я предложил сначала сходить на берег, но она сказала, чтобы я шел без нее. Три километра туда, три – обратно, она лучше подождет меня здесь.

Дорога заняла больше времени, чем я ожидал, а на финише подстерегало новое разочарование. Передо мной, насколько хватало глаз, расстился плоский глинистый берег с травяными клиньями и оазисами буроватого песка. Кое-где торчали вросшие в почву валуны и слоями лежали камни помельче. Сосны подступали почти к самой воде. Болезненно скрючившиеся под морскими ветрами, они стояли на подмытых приливом обнаженных корнях, напоминающих не то путепроводы межпланетной станции, не то остовы ископаемых монстров. Никаких утесов, о которые могли бы разбиваться суда, направляемые на них коварством Отто-Рейнгольда-Людвига, я не увидел. Заманивать сюда шкиперов не имело смысла, корабли должны были просто садиться на мель, а чтобы брать их на бордаж, барону понадобилась бы ватага головорезов. В такой экзотический поворот сюжета я поверить не мог и не понимал, почему Роденгаузен, гулявший тут с собакой, верит, будто его предок жег обманные костры на этом абсолютно бесперспективном берегу. Так же бессмысленно было прогуливать здесь увечных лошадей с фонарями; Рихо просто пересказал мне одну из тех историй, которыми туристические фирмы привлекают сюда клиентов, как Отто-Рейнгольд-Людвиг – проходившие мимо Хийумаа корабли. Выходило, что прав берлинский бизнесмен: барона действительно оговорили.

Наташу я нашел в кофейне. Она купила мне кофе, придвинула унесенный с завтрака бисквит, обернутый салфеткой и дожидавшийся моего возвращения из похода. Без меня ей рассказали, что хозяйка кофейни – одна из немногих оставшихся на острове русских женщин. Маяк был главной здешней достопримечательностью, и с присущей национальным меньшинствам предприимчивостью она сумела занять эту выгодную коммерческую нишу.

Я съел бисквит, мы еще немного посидели и пошли к маяку. К нему вела обсаженная цветами пряничная дорожка, а раньше трава тут была вытоптана людьми и лошадьми, громоздились поленницы, кругом валялись корье и щепки. Напиленные чурбаки крестьяне привозили на подводах, кололи на месте. Потом появился керосин, за ним электричество; Дагерорт работал уже пятьсот лет, по три месяца в году, каждую ночь. Сменялись поколения и народы, начинались и заканчивались войны, но огонь горел. Было в этом что-то такое, от чего благодарно сжималось сердце.

Внутри охватило каменным холодом. По винтовой лестнице с великанскими ступенями поднялись в круглый зал на последнем ярусе, уже перед выходом на верхнюю площадку. Его древние стены хранили печать недавнего евроремонта. В витринах и настенных планшетах разместились посвященная истории маяка экспозиция – лампы зрителей, фотографии, копии документов, старые книги. Одна раскрыта на титульном листе: “Морской путеводитель. Часть, содержащая в себе описание фарватеров и входов в порты в Финском заливе, Балтийском море, Зунде и Скагерраке находящихся. Сочинена по приказу Адмиралтейской коллегии в 1751 году флота капитаном Алексеем Нагаевым. Печатано при типографии Морского шляхетского кадетского корпуса в 1789 году”.

Я переписал название в блокнот и стал читать висевшие рядом выписки из этого сочинения. Первая же убедительно доказывала, что Роденгаузен не ошибся: да, прибрежных скал в этих местах нет, зато есть грозные для судов подводные каменные гряды – “банки”. Самая длинная почти под самой поверхностью протянулась вдоль берега на одну и три восьмых мили, еще три таких же, но покороче, и отдельный риф – на две мили в общей сложности. Все обнаружены лейтенантом Винковым и мичманом Спиридовым – будущим победителем турок в Чесменском бою. Впрочем, строители маяка знали о них за сотни лет до Винкова и Спиридова, да и Отто-Рейнгольд-Людвиг не в лоции капитана флота Нагаева открыл для себя эту многообещающую коммерческую нишу. Диплом Лейпцигского университета помог ему рассчитать, при каком ветре и в каких точках на местности костры или лошади с фонарями будут наиболее эффективны.

Мы вылезли наверх, на обзорную площадку. Страшный ветер обрушился на нас. Стоять у перил было невозможно, мы прижались спинами к стеклянной будке с навигационным оборудованием. Солнце сверкало в кристаллах бездействующей сейчас оптики. От ветра и простора перехватывало дыхание. Леса внизу во все стороны уходили к горизонту, лишь справа виднелся кусочек моря, даже в такую погоду не синего, а серого.

Волосы у Наташи развевались, летели, облепляли ей лицо, как в юности, когда дующий навстречу ветер – это рассекаемый тобой в полете к прекрасному будущему неподвижный воздух. Мир сиял, а я думал о том, что в моей книге есть ошибки, которых уже не исправить, и вообще неизвестно, стоило ли ее писать, если я не определился с отношением к главному герою.

С Отто-Рейнгольдом-Людвигом тоже полной ясности так и не возникло: то ли он был сукин сын, каких мало, то ли оболганный гуманист, то ли то и другое вместе. Байрон списал с него Конрада из поэмы “Корсар”, но этот презирающий все человечество мятежный персонаж далеко ушел от своего прототипа. В ссылке тот вел себя тише воды, ниже травы и радовался как ребенок, если его звали на приемы к тобольскому губернатору.

Воспоминания о берлинской конференции отзывались стыдом. Основной тезис моего доклада был глубок ровно настолько, чтобы курица могла перейти его вброд. В этом плане

он ничем не отличался от мысли, явившейся мне среди линолеума, а по энергии мишурного блеска уступал даже ей.

Пряча телефон в собственную тень, Наташа посмотрела на нем время и объявила, что пора идти. Была суббота, а в кофейне нам сказали, что по выходным до Кярдла идет дополнительная маршрутка к парому, дневная.

Наташа начала спускаться, но я медлил. Ей показалось, что решение, принятое мной внизу, в сорока метрах от земли перестало быть таким твердым.

– Хочешь остаться еще на ночь?

– Нет, – ответил я и вслед за ней ввинтился в нарезы каменного ствола.

Мы уложили в рюкзак зубные щетки, туалетную мелочь. За ночлег было уплачено вчера, но Наташа сочла долгом вежливости разыскать Рихо или Мае и лично отдать ключ от комнаты кому-то из них. Ни его, ни ее мы не нашли, оставили ключ в дверях и зашагали к шоссе.

Маршрутка подошла точно в то время, которое нам назвали в кофейне. Мы были в ней первыми пассажирами, но салон постепенно наполнялся. Водитель то и дело тормозил, чтобы посадить ждавших на обочине людей. За ними не видно было ничего, кроме леса, стеной стоявшего вдоль дороги, но, значит, где-то дальше лежали хутора или рыбацкие мызы.

Уже на подъезде к Кярдла в кармане завибрировал телефон. Звонил Марио.

– Есть новости, – сообщил он.

Голос был странный, в первый момент я его не узнал. Имя высветилось, но без очков осталось для меня нечитаемой надписью на экране.

– Что-то случилось? – спросил я.

– Вчера мне позвонил Роденгаузен. На радио ему дали мой телефон. Между прочим, за час до этого я строгал салат и порезал палец.

Марио, видимо, курил и прервался, чтобы сделать затяжку перед главным пунктом:

– Он нашел деньги на фильм.

– Ух ты! Где?

– В том фонде, который поддерживает их союз.

– Это уже точно?

– На девяносто процентов. Он уверен, что проблем не будет. Вопрос решится в течение месяца.

– Поздравляю. Рад за тебя, – сказал я, хотя мне его новость была скорее неприятна.

Я чувствовал себя одураченным. Роденгаузен упрекал меня за книгу об Унгерне, демонстративно не желал находиться в обществе его симпатизанта и, следовательно, сторонника неприемлемых для него, Роденгаузена, взглядов, а теперь нашел для Марио деньги на фильм о человеке, которого назвал садистом.

Почему?

Непохоже, что он тогда со мной лицемерил. Мы говорили с ним в прошлом году, под Рождество. Сейчас сентябрь. Что изменилось за прошедшие девять месяцев?

– Подожди, – перебил я Марио, с избыточными подробностями излагавшего мне ход вчерашнего разговора. – Знаешь, где я сейчас нахожусь?

– Где?

– На Хийумаа.

Он отреагировал спокойно.

– Ты ведь сам говорил, что на главном участке нашей жизни совпадения превышают норму.

Наташа волновалась, что медленно едем, опоздаем на паром, но мы еще прождали его около часа. Наконец отчалили. Погода испортилась. Глядя в пестрое от дождевых капель окно, я вспомнил, как двадцать с лишним лет назад, готовясь писать книгу об Унгерне, сидел в архиве в Тарту, разбирал бумаги его родственников. Письма были на немецком, прочесть

их я не мог, но надеялся хотя бы понять, о чем идет речь в том или другом, чтобы, если найдется что-нибудь интересное, сделать ксерокопии, а по возвращении в Москву заказать перевод. Ксерокопировать все подряд было непозволительно дорого. Доброжелательная архивная девушка меня консультировала. Заодно я поинтересовался у нее, как лучше и, главное, дешевле добраться до Хийумаа. Оказалось, попасть туда нельзя, пограничная зона, нужен пропуск. “Вы сможете поехать туда позже”, – обнадежил меня мой добрый ангел. “Когда позже?” – “Когда ваших солдат не будет на нашей земле”.

Из архива я вышел к университету. На площади перед ним над толпой студентов мотались туда-сюда сине-черно-белые флаги на длинных дюралевых шестах. Русский прохожий с не вполне ясным мне чувством, которое он вроде бы хотел выразить, но одновременно, словно стесняясь его, пытался скрыть, объяснил мне, что синий цвет символизирует море и небо Эстонии, черный – страдания эстонского народа под гнетом немецких баронов и советских оккупантов, белый – его светлое будущее. Я не верил, что этот флаг способен стать чем-то большим, чем андреевский или якобы имперский, черно-желто-белый, так же горделиво и на таких же алюминиевых палках реявшие над московскими толпами, но куда более дальновидный Роденгаузен уже, вероятно, готовился ступить на землю предков. Происхождение и знание туземных языков делало его идеальным кандидатом на пост представителя Берлина в Таллине.

6

Через месяц Марио позвонил снова.

– Умер, – сказал он своим обычным голосом.

Спрашивать кто нужды не было.

– Когда? – спросил я.

– Точно не знаю, но недели три назад. Вскоре после того, как он мне звонил.

Возраст, в котором мужчины умирают на улице или в приемном покое, для Роденгаузена давно миновал, но я решил, что смерть была внезапной – сердце. Оказалось, онкология, болел с зимы. Зимой его прооперировали, а летом ему опять стало хуже, положили в клинику, там он и умер. У Нади в этой клинике лежит один русский клиент с тем же диагнозом, она говорила с врачом, и врач по аналогии вспомнил о Роденгаузене.

– Я сопоставил даты, – сказал Марио. – Получается, он звонил мне из больницы.

– И что теперь?

– Ничего.

– В каком смысле?

– Ничего не будет.

– А тот фонд? Если они согласились профинансировать твой проект, обойдется, может быть, без Роденгаузена?

– Я узнавал. Они об этом понятия не имеют.

– То есть он тебя обманул?

– Не думаю. Думаю, он хотел дать мне свои личные деньги, но оформить так, будто все идет через фонд. На документальный фильм не такая уж большая сумма требуется. Для таких, как он, вообще не деньги. Ему обещали еще полгода жизни. Он рассчитывал, что успеет провернуть это дело, но – вот так.

Сквозь его голос зазвучали стихи о старом человеке, которые я читал Наташе на Хийумаа: “Какое прекрасное место, чтобы прийти сюда однажды ранним утром, утром ранней осени...” Если, гуляя в одиночестве у маяка или на морском берегу, Роденгаузен с кем-то и разговаривал, то не с самим собой, не с собакой – с пролетающим ветром. Этим ветром с острова сдуло сначала шведов, потом немцев, потом русских.

Он был дипломат, говорил не Ревель, а Таллин, не Даго, а Хийумаа, не Дагерорт, а Кыпу, но на больничной койке они обрели прежние имена. В ушах шумело море, по берегу тянулась вереница хромых лошадей с фонарями, о которых ему, мальчику, рассказывала мать. В их свете все стало сном, кроме детства. Он проснулся и увидел: то, что разделяло их с Унгерном, исчезло, унесено его летучим собеседником. Два плода с разницей в полстолетия созрели на одной ветке. Кузины первого стали троюродными бабушками второго, двоюродные племянницы – какими-нибудь непрямыми тетками.

– Идешь по улице, – говорил Марио, – издали видишь в толпе знакомого, а подходишь ближе – нет, не он. Идешь дальше и через какое-то время встречаешь того самого человека, за которого принял первого. Ложная встреча – знак, что будет настоящая. С тобой так бывает?

Момент перехода к новому сюжету от меня ускользнул.

– Ты это к чему?

– Если Роденгаузен хотел дать мне деньги на фильм, но не сложилось, значит, скоро даст кто-нибудь другой. Я уже придумал первые кадры.

Он начал излагать свою идею: ночь, Дагерорт; узкий в истоке, но постепенно расширяющийся луч прожектора с вершины маяка падает на темное море. В конусе света, как в стеклянном сосуде, клубится плывущий над водой туман. Сквозь него сверху вниз, наискосок, через весь экран, вырастая из точки и быстро увеличиваясь в размерах, мчится всадник в желтом княжеском дэли с генеральскими погонами. Пока он несется внутри луча, туман за ним багровеет, окрашивается кровью. Унгерн долетает до воды, скачет по морю, и мы видим, что это уже не море, а степь.

– Музыка соответствующая, – закончил Марио. – Бах переходит в монгольское горловое пение.

– Компьютерная графика – это дорого, – заметил я.

– Зависит от объема. У меня будет максимум минута. Просто заставка перед названием, дальше пойдет обычное документальное кино. Как тебе идея?

– Здорово, по-моему, но есть один нюанс. Дагерорт стоит в трех километрах от берега, луч до воды не достает.

– А у меня достанет, – сказал Марио.

Он передал привет Наташе, я – Наде, и мы простились.

2017

Полковник Казагранди и его внук

1

Он позвонил и сказал:

– Я прочел вашу книгу об Унгерне. Моя фамилия Казагранди.

– Родственник? – спросил я.

– Внук.

И скороговоркой, чтобы успеть сказать главное, пока его не прервали:

– Я приехал из Усть-Каменогорска, это в Казахстане. Пробуду в Москве только три дня. Очень хотелось бы с вами встретиться. Меня зовут Игорь.

Денег на то, чтобы пойти с ним в кафе, у меня не было, да и нормальных кафе в 1994 году не было тоже. Я пригласил его к себе домой. Вечером он пришел. Ему оказалось лет тридцать, меньше, чем я ожидал. Странно было, что этого молодого человека в джинсовом костюме и убитого в Монголии по приказу Унгерна колчаковского полковника разделяет всего одно поколение.

Его дед Николай Николаевич Казагранди, выходец из семьи обрусевшего итальянца, юрист с дипломом Казанского университета и офицер военного времени, в Гражданскую стал командиром полка – вот, пожалуй, все, что мне было известно о нем до января 1920 года. Зато историю последних полутора лет его беспокойной жизни я знал хорошо.

После разгрома Колчака при отступлении от Красноярска на восток Казагранди заблудился в тайге, попал в плен и был отправлен на лесозаготовки, но сумел бежать в уже занятый красными Иркутск, где жили его жена и дочь. Какое-то время скрывался в городе, потом ушел в Монголию, сколотил отряд из таких же беглецов, как он сам, и хотя позже подчинился Унгерну, действовал в отрыве от главных сил Азиатской дивизии. В июле 1921 года он со своим отрядом в двести сабель стоял на Хэнтэйском хребте, возле перевала Эгин-Дабан, а Унгерн после поражения под Кяхтой разбил лагерь на пару сотен верст севернее, в верховьях Селенги. Готовясь ко второму походу в Забайкалье, он направил Казагранди письменный приказ: идти на соединение с дивизией, чтобы принять участие в предстоящем наступлении. В ответ, сообщают мемуаристы, полковник прислал к барону некоего офицера, на словах передавшего ему, что Казагранди отказывается исполнить приказ, но чем он руководствовался и для чего, собственно, посчитал нужным доложить о своем неподчинении Унгерну, который ни при каких обстоятельствах не мог этого одобрить, никто не понимал. Если Казагранди решил выйти из игры, разумнее было ответить притворным согласием, а затем просто уйти с места стоянки. Гоняться за ним по диким горам Хэнтея барон бы не стал, у него других забот хватало. Логичным казалось предположение, что прибывший к нему офицер был не доверенным лицом Казагранди, а доносчиком, сообщившим о его измене.

Поговорив с ним, Унгерн отправил на Эгин-Гол сотника Сухарева с полудесятком казаков. Ему велено было расстрелять Казагранди как изменника, принять командование отрядом и привести его в базовый дивизионный лагерь на Селенге.

Первые два пункта приказа Сухарев выполнил: убил ослушника и занял его место. Предвидя, однако, что второй поход на Советскую Россию окончится так же, как первый, и уступая, видимо, требованиям бойцов, стремившихся в Харбин, в зону КВЖД, он повел отряд не на север, к Унгерну, а на восток, в Маньчжурию. На границе нарвались на китайскую пехоту из армии генерала Чжан Цзолиня. В бою Сухарев погиб, перед смертью успев застрелить жену и маленького сына. Все или почти все его люди были перебиты китайцами.

Теперь я узнал от Игоря, что его отцу, тоже Николаю, было тогда шесть месяцев. Полковник никогда не видел сына. Мальчик появился на свет в Иркутске; там, уходя в Монголию, Казагранди оставил беременную жену Александру Ивановну с пятилетней дочерью Аллой. Отвечать за мужа им не пришлось, вдове с детьми позволили уехать в Харбин.

Осенью 1945 года в город вошли советские войска; Николай Казагранди-младший, при японцах служивший чертежником на фанерной фабрике, был арестован и вывезен в СССР. После лагеря обосновался в Усть-Каменогорске, там и прожил всю оставшуюся жизнь.

– Он родился в год гибели отца. А я – когда ему было за сорок, – раскрыл Игорь причину своей подозрительной молодости.

– Дед – Николай Николаевич, отец – Николай Николаевич, – сказал я. – Почему вас не называли так же?

– Чтобы судьба была ко мне милостивее, чем к ним, – объяснил он.

И спросил:

– По-вашему, офицер, который прибыл к Унгерну с Хэнтея, донес ему на деда?

– Похоже на то.

– А какие у деда были планы? Я не просто так спрашиваю, мне это важно, чтобы понять его как человека. Куда он собирался вести своих людей?

– Вероятно, в Маньчжурию.

– Может быть, через Маньчжурию в Приморье? – предположил Игорь. – Чтобы продолжить борьбу там? Во Владивостоке тогда еще были белые.

– Тоже вариант, – согласился я, – но он мог и распустить отряд, и вместе с ним сдать красным, выговорив себе за это прощение. Его планов никто не знал. Свидетелей не осталось, все погибли.

– А тот офицер?

– Он – да, знал.

– И никому не рассказал?

– Никому из тех, кто оставил воспоминания.

– И что с ним потом случилось?

– С доносчиком? – уточнил я.

– Да. Унгерн послал его с Сухаревым обратно к деду? Или оставил при себе?

– Понятия не имею.

– Как так?

– Так. Мемуаристы об этом молчат, Унгерн на допросах в плену о нем не упоминал. Известна даже его фамилия. Я не Господь Бог, чтобы знать все.

Игорь воспринял это как выговор.

– Я ведь для чего хотел вас увидеть, – сказал он виновато. – Думал, вы расскажете про деда больше, чем написано в вашей книге. Меня интересует, как он вел себя по отношению к подчиненным и населению, каковы его человеческие качества. Бабушка, мать отца, рассказывала ему про деда, но я ее не застал, а отец со мной никогда о нем не говорил. Люди его поколения боялись говорить о таких вещах с детьми. А теперь его уже нет.

Тут я мало чем мог ему помочь. Для меня самого Казагранди оставался фигурой неясной. Рассказы тех, кто встречался с ним в Монголии или писал о нем с чужих слов, расходились так, словно речь шла о разных людях. Для Арсения Несмелова это “жестокий герой”, другие отрицали его храбрость, зато обвиняли в убийствах китайских поселенцев и грабеже буддийских монастырей. Ходили упорные слухи о зарытом им где-то в горах кладе, чье местонахождение он отказался открыть Унгерну, – это якобы и стало подлинной причиной его казни. Один казачий офицер именовал его не иначе как “кровавой бестией”, но были и такие, кто видел в нем человека достаточно гуманного, по крайней мере для того времени и тех мест, куда его занесло под конец жизни.

Лучше многих о Казагранди отзывался некто Носков, автор изданной в Харбине книжечки “Авантюра, или Черный для белых русских в Монголии 1921-й год”. У меня дома лежала ее ксерокопия, сделанная в Ленинской библиотеке за немалые, по моим тогдашним понятиям, деньги, но я, вдруг расщедрившись, подарил свой ксерокс Игорю. Заказать себе такой же у него не хватило бы времени: через день он навсегда улетал в Австралию, в Сидней. Виза была уже готова.

Молодой, холостой, свободный, мой гость стоял на пороге новой жизни. В нем ощущалась проходящая сквозь сердце, вибрирующая от предельного натяжения струна. Ее звон повисал в воздухе, едва Игорь умолкал. Про деда он расспрашивал так, словно исполнял последний долг на покидаемой навеки родине.

О его планах на будущее мы проговорили дольше и едва ли не горячее, чем о несчастном полковнике. Перешли на кухню, жена выставила парадные чайные чашки, доставшиеся ей от бабушки и предназначенные исключительно для гостей. Последнее время они все реже появлялись на столе.

Моя Наташа приняла активное участие в разговоре: проблема эмиграции была для нее актуальной. Австралия потеснила Монголию, но вопрос о том, каким образом Игорь получил австралийский вид на жительство, так и остался открытым. Спросить прямо я постеснялся, а он не вдавался в детали. Впрочем, догадаться было нетрудно. Тысячи бывших колчаковцев из Китая переселились в Австралию, как-то само собой подразумевалось, что потомки осевших в Сиднее соратников Казагранди по борьбе с большевиками оформили внуку приглашение и оплатили билет на самолет. Стоимость такого перелета была для него совершенно неподъемной.

Когда он ушел, Наташа сказала с затаенной горечью:

– Людям важнее собственное будущее, чем чужое прошлое. Это естественно.

Камень был в мой огород. Она считала, что здесь у нас будущего нет, и хотела увезти меня с сыном в Германию, а я собирался писать книгу о генерале Пепеляеве и Гражданской войне в Якутии. Для этого нужно было попасть в Новосибирск, в архив ФСБ, но наш семейный бюджет не выдержал бы такой поездки.

2

До Новосибирска я добрался через два года. Сидел в окружной военной прокуратуре, читал следственное дело Пепеляева, временно переданное туда из ФСБ по заявлению его сына о реабилитации отца. Оно было объединено с делами других пепеляевских офицеров, плененных красными в порту Аян в 1923 году и морем доставленных во Владивосток. Просматривая их, я дошел до показаний поручика Федора Рассолова. В первых же строчках бросилось в глаза имя Унгерна. Это сочетание букв я воспринимал как написанное другими чернилами или напечатанное другим шрифтом, чем весь остальной текст.

Рассолов был учитель из Иркутской губернии, служил у Колчака, бежал от красных в Монголию, там прибил к отряду Казагранди и, очевидно, пользовался полным его доверием: именно Рассолова, как он показал на допросе в ГПУ, дед Игоря отправил к Унгерну для переговоров. Напрасно я подозревал в нем доносчика.

Это было одно из моих сильнейших читательских потрясений. Безымянный офицер, с непонятной целью прибывший от Казагранди к барону накануне последнего похода Азиатской дивизии в Забайкалье, обрел имя и биографию, словно луч неземного света выхватил этого человека из навсегда, казалось, объявшей его тьмы.

Вся дивизия располагалась лагерем на левом, низком берегу Селенги, а барон со штабом – на правом, высоком. На левом было много змей, по ночам они заползали в палатки, вдобавок Унгерн уже догадывался о зреющем офицерском заговоре и опасался покушений. Рассолова

в лодке перевезли к нему на правый берег. Они с Унгерном о чем-то долго беседовали, сидя рядом на краю речного обрыва. Дело было днем, при ярком июльском солнце. Один из мемуаристов видел их через реку и хорошо запомнил эту картину. Издали она выглядела вполне идиллической.

Теперь я узнал, о чем они говорили.

Отвечая на вопрос следователя, Рассолов раскрыл цель своей миссии, загадочную не только для меня, но и для его современников:

“После неудачных июньских боев, – кратко сообщил он, – Казагранди решил уйти со всем отрядом в Индо-Китай или в Персию, образовать там земледельческую колонию и заниматься мирным трудом. С этим предложением я был направлен от него к Унгерну, который встретил меня очень сурово, а самого Казагранди приказал расстрелять, что и было исполнено Сухаревым”.

Образовать колонию, Боже мой! В Иране или в Таиланде. Что, интересно, он собирался там выращивать? Рис? Бананы? Или, как один белый латышский стрелок, тоже пытавшийся уйти из Сибири в теплые страны, планировал разводить страусов на перья для дамских шляпок? Латыш был уверен, что охватившее мир безумие не может длиться вечно, когда-нибудь все вернется на круги своя, и женщины вновь начнут украшать шляпы страусиными перьями. Этот верный способ разбогатеть излагался в записках его сокамерника по омской тюрьме.

Я ни на минуту не усомнился, что Рассолов сказал правду. Есть вещи, которых не придумаешь, да и зачем ему врать? Все герои этой драмы уже два года как были мертвы: Унгерна судили и расстреляли в Новониколаевске, Казагранди убит Сухаревым, Сухарева застрелили китайцы. Тела товарищей Рассолова по отряду истлевали в степи под Калганом.

Сомнения вызывало другое: неужели Казагранди был настолько наивен, что рассчитывал соблазнить своей идеей Унгерна? Но почему бы нет? То, что годилось для его отряда, могло стать выходом и для всей Азиатской дивизии.

Нигде тогда, а в Монголии особенно, не стоило полагаться на здравый смысл, не подмешав к нему толику безумия. В ирреальной действительности тех лет самые фантастические проекты казались осуществимыми, а нередко и осуществлялись, если за них брались люди, умеющие проходить над бездной по острию ножа, возводить песчаные цитадели и вербовать под свои знамена призраков. Унгерн был из этой когорты, и Казагранди мог искренне верить, что его план будет принят, ведь в чужеродной среде легче уберечь дивизию от разложения, сохранив ее до тех пор, когда с переменой обстановки в России мирные колонисты опять превратятся в спянных общей судьбой опытных бойцов.

Казагранди должен был посвятить Рассолова в свои резоны, иначе отправлять его к Унгерну не имело смысла. Правда, в ГПУ он ничего такого не говорил, но я нашел этому объяснение: Рассолову выгодно было подчеркнуть их намерение сложить оружие, умолчав о готовности снова взять его в руки.

Казагранди не желал больше воевать, но и уходить в Харбин не хотел тоже. Там его никто не ждал, а вернуться в Иркутск, к жене, к дочери Алле и будущему отцу Игоря, семимесячному младенцу, чье имя и даже пол ему, последние месяцы полностью оторванному от внешнего мира, были, скорее всего, неизвестны, он не мог. При каком-то немислимом везении ему, может быть, удалось бы пробраться в город и проникнуть к жене, но мимолетным ночным свиданием он лишь растравил бы сердце себе и ей. О том, чтобы под носом у ЧК вывезти ее с двумя маленькими детьми в Китай, не стоило и думать; не было ни малейшей надежды воссоединиться с семьей в сколько-нибудь обозримом будущем. Для Казагранди, как и для Рассолова, также оставившего семью по ту сторону русской границы, Индокитай или Персия, причем в принципе не важно, одно или другое, сделались тем идеально чистым листом, с которого удобнее всего начинать новую жизнь. Абсолютно чуждый мир подходил тут лучше, чем знакомый.

Теоретически допускалась и другая причина: у Казагранди в Монголии могла появиться какая-то женщина из русских беженцев, он хотел быть с ней, а не с Александрой Ивановной, отсюда идея основать колонию подальше от семьи, однако никаких следов своего пребывания ни на Хэнтее, ни на отрядной базе в монастыре Ван-Хурэ эта незнакомка не оставила. Я имел полное право считать, что ее не было.

Едва ли весь отряд Казагранди готов был идти с ним в глубины Азии. Возможно, бойцы просто не знали, куда он планирует их вести, но если предположить, что Сухарев им это объяснил, объяснялось и то, почему никто в лагере не помешал ему убить полковника и занять его место.

Рассолов был доверенным лицом Казагранди; быть может, и другом. Все, что оправдывало мертвого, говорило в пользу живого, но не один голый расчет побудил его встать на защиту оклеветанного харбинскими писаками полковника. Когда следователь предложил ему охарактеризовать Казагранди, Рассолов без колебаний присоединил свой голос к голосам тех, кто отвергал тяготевшие над ним обвинения в жестокости.

“Его приемы были несколько отличительны от остальных белых в Монголии, – сказано было с той интонацией, которая слышится даже в протоколе допроса, если человек говорит то, к чему призывают его долг и совесть. – Полковник Казагранди проповедовал всепрощение и любовь к противнику, считая его временно заблудшим, поэтому был противником репрессий”¹.

Унгерн, однако, являлся их сторонником, о чем Рассолов не мог не знать. Он понимал, что рискует головой, соглашаясь передать ему идею Казагранди заодно с его отказом участвовать в наступлении, тем не менее согласился и не прогадал: велел расстрелять полковника, Унгерн пощадил его посла. Рассолова зачислили в один из стоявших на Селенге полков, благодаря этому он уцелел, когда отряд Сухарева был уничтожен китайцами. А если бы испугался ехать с такой миссией к грозному барону, то разделил бы участь товарищей. Смертельно опасное поручение спасло ему жизнь.

Вскоре Азиатская дивизия взбунтовалась и ушла в Маньчжурию без Унгерна. Барон был пленен красными, а Рассолов в конце концов добрался до Харбина, следующим летом вступил в Сибирскую добровольческую дружину Пепеляева и отплыл с ней в порт Аян на Охотском побережье, чтобы оттуда, через Якутию, попасть домой, к жене и четырехлетней дочке. Он не видел их два с лишним года, сильно по ним тосковал и ради встречи готов был с боями пройти до Иркутска три тысячи верст по зимней тайге. Сирены из харбинских газет заманили его на эти рифы чарующей песней о том, что вся Сибирь уже восстала против большевиков, добровольцы скоро увидят свои семьи.

После того как Пепеляев с остатками дружины сдался в плен, мечта Рассолова наконец сбылась. Следствие не вскрыло за ним никаких преступлений на службе ни у Колчака, ни у Пепеляева, ни даже у Унгерна, и он из Владивостока был отправлен по прежнему месту жительства под надзор уездных властей. Позднее переехал в Иркутск, работал бухгалтером в горпродторге, но, может быть, в какой-то параллельной реальности они с Казагранди на легких воздушных конях пролетали среди цветущих садов Хорасана, под шумящими на ветру аннамскими пальмами – избавленные от воспоминаний, не ведающие печали.

А в этом мире Рассолов последовал за любимым начальником в феврале 1938 года: его расстреляли как члена контрреволюционной подпольной организации, существовавшей где-то в тех же туманных сферах, что и руководимая Казагранди земледельческая колония из его убитых на китайской границе всадников.

¹ Архив УФСБ по Новосибирской области, д. 13069, л. 105 об. – 107.

3

После моей поездки в Новосибирск прошло пятнадцать лет. Книга о Пепеляеве мне никак не давалась, я брался за нее несколько раз, но закончить не мог, зато выпустил второе, расширенное издание “Самодержца пустыни”, книги об Унгерне. Первое, вышедшее в 1993-м, Игорь купил у себя в Усть-Каменогорске, а потом позвонил мне в Москве.

Примерно через полгода я получил письмо от Саши Исаева, в прошлом – моего ученика в физико-математической школе № 9 в Перми. Я вел у них в классе историю. Как выяснилось, Саша окончил МГУ и уже много лет живет в Австралии, преподает математику в университете Канберры, профессор. Мою почту дали ему бывшие однокашники. Он прочел “Самодержца пустыни” и зажегся идеей разыскать в Австралии потомков забайкальских казаков, у которых по сундукам и чердакам пылятся доставшиеся им от предков ценнейшие исторические документы по моей теме. Найденные сокровища Саша намеревался сканировать и переправлять мне.

Я выразил осторожный скепсис относительно этой затеи, но попросил его найти адрес Игоря Казагранди. Как раз незадолго перед тем, снова взявшись за книгу о Пепеляеве, я перебирал свои старые записи, наткнулся на высказывания Рассолова о его деде и подумал, что Игорь рад был бы о них узнать.

Саша сразу проникся важностью задачи.

“Родственник того самого?” – осведомился он, демонстрируя знание контекста.

“Внук”, – ответил я и уже на другой день получил его почту, телефон и адрес его сайта. В прекрасном новом мире поиски иголки в стоге сена перестали быть проблемой.

На сайте Игорь значился как владелец юридической фирмы в Сиднее. Тут же в памяти всплыла фраза, произнесенная им у меня дома вечность тому назад.

“Юрист, – отвечено было на вопрос моей Наташи, кто он по образованию. – Пошел по стопам деда”.

Я написал ему коротенькое письмецо, а в конце привел цитаты из показаний Рассолова со ссылкой на новосибирский архив ФСБ – дело (фонды как единица хранения в этом архиве отсутствуют) и номера листов. Скромный знак моей причастности к тайнам сильных мира сего.

Игорь отозвался мгновенно. Он писал, что отлично помнит нашу встречу, благодарит за интересные сведения о деде, а в ответ шлет качественный цветной скан сохраненного бабушкой метрического свидетельства своего отца. Выражалась надежда, что оно пригодится мне в моей работе.

Открыв приложение, я увидел бледную машинопись, пробитую через фиолетовую копирку – второй или даже третий экземпляр. Право входить в казенные учреждения признавалось исключительно за первым, остальные в качестве резерва сберегались на случай его утраты, пока не переходили в разряд семейных реликвий. Присланный документ был из их числа.

Он гласил:

“Настоящее выдано Казагранди Николаю Николаевичу в силу протокольного определения Харбинского Епархиального Совета от 7 июня 1938 года, за № 40, утвержденного высокопреосвященным Мелением, архиепископом Харбинским и Маньчжурским, резолюцией от 26 мая 1938 года, за № 316, в том, что, как выяснено показаниями присяжных свидетелей, он действительно родился 10 января нов. ст. 1921 года в гор. Иркутске и 9 октября нов. ст. того же 1921 года там же, в Иркутске, в Крестовоздвиженской церкви, крещен священником о. Иоанном Троицким.

Законные родители: полковник российской императорской армии Николай Николаевич Казагранди и супруга его Александра Ивановна Казагранди, оба православные.

Восприемниками были: профессор экономического отделения Иркутского университета Клавдий Николаевич Миротворцев и жена инженера Елена Константиновна Сукманская”.

Далее указывалось, что подтверждающие вышеизложенное подписи восприемников заверили своими подписями “заступающий место” председателя Епархиального Совета протоиерей М.Филолог и член-секретарь Совета протоиерей И.Петелин.

Как я понял, свидетельство было выдано Николаю Казагранди-младшему, чтобы на его основании он мог получить удостоверение личности. Ему скоро исполнялось восемнадцать лет, но таким, как он, китайские паспорта не полагались.

Игорь был уверен, что как специалист по его деду я счастлив буду заполучить эту бумагу. Что-нибудь в том же духе после долгой охоты раздобыл бы профессор из Канберры, которого я помнил школьником.

Казагранди-старший громко именовался здесь “полковником императорской армии”, хотя при Николае II дослужился всего лишь до поручика; в полковничий чин его произвели при Колчаке. Святая материнская ложь повышала социальный статус сына в глазах падкой на такие побрякушки эмигрантской общественности. Больше ничего любопытного не нашлось, но когда для очистки совести я перечитал свидетельство внимательнее, то отметил одну странную деталь: родившийся в январе мальчик крещен был в октябре, спустя девять месяцев после рождения. Что-то, видимо, помешало Александре Ивановне сделать это раньше.

Что?

Само собой, младенцы болеют, хотя при грудном вскармливании это случается не так часто. Более реалистичными казались два других варианта. Оба покоились на допущении, что лишь тогда, в начале октября, Александре Ивановне стало известно о смерти мужа, убитого тремя месяцами раньше. Теперь она или перестала его ждать, чтобы крестить сына вдвоем, или, проживая по подложным документам, до этого боялась объявлять настоящую фамилию ребенка даже в церкви. Отныне ЧК не было расчета ни брать ее в заложницы, ни делать из нее приманку для полковника, если тому хватит дерзости под чужим именем явиться в Иркутск.

Но от кого она узнала о его гибели?

В советских газетах об этом не писали, харбинские до Иркутска не доходили, а линии монгольского степного телеграфа, молниеносно разносившего новости от табуна к тауну и от кочевья к кочевью, обрывались на границе с Россией.

Может быть, Рассолов, очутившись в Харбине, нашел способ сообщить Александре Ивановне, что она стала вдовой? Они могли быть знакомы, ведь он жил где-то под Иркутском и скрывался в городе зимой 1920 года, то есть в одно время с Казагранди, но если даже Рассолов не знал его жену лично, как близкий ему человек он был о ней наслышан. Возможно, перед первым походом в Забайкалье они с Казагранди обменялись адресами своих семей, чтобы в случае гибели одного другой известил бы его родных.

По датам все совпадало идеально. Рассолов оказался в Харбине в двадцатых числах сентября, за полмесяца до крещения Коли. Двух, а то и трех недель было достаточно, чтобы его письмо, пусть через промежуточных корреспондентов, чьи имена и адреса ему также мог назвать Казагранди, по вычерченной им сложной траектории попало к Александре Ивановне. Тайные связи пронизывали этот жестокий мир, невидимые, как прожилки на древесном листе, пока не помотришь сквозь него на свет.

Отвечая Игорю, я упомянул, что недавно вышло второе издание “Самодержца пустыни”, в нем есть много такого, чего в первом не было, в том числе – про его деда.

Игорь с восторгом принял это известие. На следующий день он проинформировал меня, что выписал мою книгу по почте, а еще через месяц доложил: книга доставлена, он мне обязательно напишет, как только прочтет, но письма от него я так и не дождался.

Годом позже я познакомился с Константином Бурмистровым, историком философии и знатоком русской эмиграции в Китае. На пересечении двух этих векторов его профессионального интереса, как пойманный в перекрестье прожекторных лучей бомбардировщик, находился забытый философ Илья Коджак, родившийся за три года до начала XX века в Севастополе и умерший спустя семьдесят лет в Сиднее. От Бурмистрова я впервые услышал это имя.

Коджак происходил из старинной караимской фамилии, окончил Лазаревский институт восточных языков в Москве, в Гражданскую служил в читинском авиаотряде атамана Семенова, но, похоже, сам не летал. Позднее жил в Харбине, издал там несколько книг. Об их содержании я мог судить лишь по заглавиям и аннотациям. Скажем, главный труд его жизни назывался «Социософия» и, как следовало из явно не лишнего при таком названии уточняющего подзаголовка, представлял собой изложение «новой науки о государстве как социальном организме и его душе – прогрессе». Понятно было, что брошюра «Еврейский вопрос» посвящена еврейскому вопросу, книга «Пятая симфония Чайковского» – Пятой симфонии Чайковского, но какие проблемы трактовались в книжечке «Око в окне», оставалось лишь гадать.

Вскоре после вступления в Харбин советских войск Казагранди-младший был арестован как сын своего отца, однако его мать и сестру не тронули. Потенциально опасные элементы определялись по гендерному принципу: родственницы даже видных участников Белого движения обычно оставались на свободе, но почему избежал ареста служивший у атамана Семенова караимский философ, сказать трудно. Вероятно, ухитрился вырвать эту страницу из книги своей жизни или сделать ее невидимой для читателей из НКВД.

В нашем с Бурмистровым разговоре его тень возникла среди других теней, в земной жизни так или иначе связанных с Унгерном: оказывается, женой автора «Социософии» была дочь полковника Казагранди, Алла. Она вышла за него замуж в Харбине в 1959 году. Оба были немолоды: ей – сорок четыре года, ему – шестьдесят два. Может быть, от их внимания не ускользнуло, что у каждого цифры возраста дают в сумме число «восемь», счастливое для буддистов. Коджак и Алла Николаевна слишком долго прожили на Востоке, чтобы этого не знать. Новобрачные склонны придавать значение таким вещам.

Вряд ли полковник, будь он жив, одобрил бы выбор дочери. Во всяком случае, когда при Унгерне в Урге начались убийства евреев, те из них, кому удалось бежать из монгольской столицы, находили приют не у Казагранди в Ван-Хурэ, а у другого сподвижника барона, атамана Кайгородова, в Кобдо. На фотографии внешность Коджака была чисто семитская, и хотя караимы отрицают родство с евреями, настаивая на своих тюркских корнях, единодушия тут нет даже среди них самих, не говоря обо всех прочих. Для Казагранди форма носа стала бы важнее любых этнологических теорий.

Роман Коджака с Аллой Николаевной завязался задолго до женитьбы. В их возрасте оформлять отношения им было ни к чему, пока Пекин не потребовал от русских в Китае или принять гражданство КНР, или репатриироваться в СССР, где им не разрешали селиться западнее Урала, или выехать в третьи страны. Предпочтительнее всего были США, Канада и Австралия, но там принимали беженцев при наличии в стране родственников или единовверцев, способных профинансировать переезд. В Австралии жил старший брат Коджака, Иосиф, он и выступил в роли спонсора для витавшего в эмпиреях философа, его подозрительно вовремя появившейся жены и даже тещи. Александра Ивановна понимала, конечно, что никогда больше не увидит сына, но она и так прожила без него четырнадцать лет; дочь была нужнее и надежнее. Сразу после регистрации брака все трое из Харбина отправились в Гонконг, а оттуда – в Сидней.

У Бурмистрова имелись копии анкет, от руки заполненных ими по-английски в гонконгском отделении Бюро по делам беженцев при ООН. Рукописи горят, но те, на которых есть печати государственных или международных организаций, горят реже.

Вот они, эти судьбоносные бланки с наклеенными в правом верхнем углу фотокарточками – бесценный для биографа источник. Записи читались без усилий, но если Бурмистрова интересовал сам Коджак, меня – его жена. Было чувство, будто я встретил взрослую замужнюю женщину, которую последний раз видел девочкой. Когда в Иркутске, в Крестовоздвиженской церкви, она стояла у крестильной купели брата, ей было шесть лет.

Рост Аллы Николаевны составлял 5 футов 7 дюймов, вес – 140 фунтов. Красавицей я бы ее не назвал, но твердый рот, крепкие скулы и общая резкость черт говорили об энергии и жизненной силе. Зная об итальянском происхождении полковника, в ее чертах нетрудно было найти признаки той же крови. Волосы, как указывалось в анкете, у нее были светлые, однако на черно-белом снимке выглядели темными и придавали ей облик южанки. Глаза зеленые. У матери – серые. Надо думать, цвет глаз дочь унаследовала от отца и, не исключено, вместе с характером. На вопрос о владении иностранными языками она ответила, что читает, пишет и говорит по-английски, по-китайски и по-японски; в качестве основных своих занятий назвала переплетение книг и печатание на машинке, что, видимо, связано было с помощью Коджаку в его одиноких трудах, а в качестве дополнительных – шитье и вязание. Денег на то, чтобы одевать жену у портних или в магазинах готового платья, философу не хватало. Детей у них, естественно, не было.

Коджак умер в 1967 году, но женщины в Австралии доживают до глубокой старости. Алла Николаевна была намного моложе мужа и через двадцать семь лет после его смерти, когда Игорь Казагранди пил чай у меня на кухне, наверняка еще здравствовала. В то время ей не исполнилось и восьмидесяти – по австралийским меркам возраст вполне дееспособный. Не потомки соратников полковника по борьбе с большевиками, внезапно озаботившиеся судьбой его прозябавшего в Казахстане внука, а она, родная тетка, выхлопотала ему вид на жительство, оплатила билет на самолет и опекала его, пока он учил язык и обустроивался в Сиднее. Другой родни у нее не было. Перед смертью миссис Коджак обрела опору в молодом, не обремененном семьей племяннике, как он в ней – перед началом новой жизни под шумящими на океанском ветру пальмами. Зеленый континент стал для Игоря той тихой гаванью, о которой мечтал его дед, собираясь вести своих всадников в Индокитай или в Персию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.